

БИБЛІОТЕКА

Театра

и

Искусства

СОДЕРЖАНІЕ. Блестящая пыль. Пов. изъ жизни соврем. писателей, художниковъ и актеровъ *В. Берента*.—Драматическ. искусство и артисты д-ра *Гагемана*, перев. *П. П. Немеродова*.—Ноктюрнъ *Гансы Маценко*.—Интересныя темы *Сергія Сутуллина*.—Между пріятелями. Разсказъ. *А. Артемьева*.—Юлія Пастрана, Психолог, оч. *В. Далматова*.—Литер. замѣтки *Н. А. Селиванова*.—Новый годъ *Н. Чудова*.—Отвѣтъ Мольера. Пьеса въ одномъ актѣ *Н. Н. Домова*.—„Богатый человѣкъ“ ком. въ 4 д. *С. Найденова*.

ЯНВАРЬ — КНИГА ПЕРВАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Спб. Т-ва Печати. и Издат. дѣла «Трудъ». Фонтанка, 86.

1904.

Литературныя замѣтки.

Литература безвременья. Литература маленькихъ мыслей, ничтожныхъ чувствованій, невнятныхъ запросовъ, неопредѣленныхъ стремлений.

Что дѣлать? Такова жизнь, а еще по старымъ прописямъ извѣстно не обучавшимся даже въ семинаріи, что „литература есть отраженіе жизни“. Это именно и является характернѣйшимъ признакомъ безвременья, когда литература сливается съ жизнью, принижается до нея, отражаетъ ее безъ всякаго художественнаго претворенія.

Иное дѣло, когда литература становится надъ жизнью, когда она въ размахѣ творчества, въ глубинѣ мысли освѣщаетъ, исчерпывая, весь духовный смыслъ, все нравственное и идейное содержаніе жизни. Тогда-то именно зарождаются историческіе періоды литературы, которые оставляютъ послѣ себя на долгіе годы „Горе отъ ума“, „Ревизора“, „Обломова“ или, по крайней мѣрѣ, „Отцовъ и дѣтей“.

Боюсь, думаю, даже увѣренъ, что отъ нынѣшней литературы безвременья ничего не сохранится не только для потомства, но и для насъ самихъ лѣтъ черезъ десять. Нѣтъ нужды, что именно въ наше время создаются необычайно быстрые, головокружительные успѣхи, которыхъ не знали времена ни Гоголя, ни Тургенева, ни Достоевскаго. Тѣмъ они призрачныѣе, эфемерныѣе. Это — успѣхъ самой жизни съ ея сутолокой, безтолковщиной, съ ея сбившимися понятіями, растрепавшимися мыслями, издерганными нервами, растреченными и оплошленными чувствами; это — успѣхъ тѣхъ, отраженныхъ литературой, условій, настроеній и стремлений жизни, при которыхъ въ качествѣ героевъ на первый планъ выступаютъ Өммы Гордѣвы.

Вотъ имя, которое сразу и прежде всего слетѣло съ пера. И, вѣдь, дѣйствительно, Ома Гордѣевъ—герой безвременья; по крайней мѣрѣ, вполне и совершенно годится въ герои. Въ другія времена, во времена сознательной жизни съ иными духовными и нравственными запросами и интересами, разумѣется, онъ стоялъ-бы даже нѣсколько ниже Любима Торцова, а теперь онъ — герой, потому что „выразитель протеста“ или, наоборотъ, выразитель протеста—потому и герой.

Но, въ сущности, геройство это довольно стараго происхожденія, только на степень „тріумфа жизни“ оно никогда раньше не возводилось: у Островскаго трагикъ совершенно искренно говорить, что онъ необыкновенно благороденъ, но благороденъ-то бываетъ, только когда пьянъ. Вотъ въ этомъ-то и выражаются мелочность, ничтожество, раздавленность жизни, когда съ „протестомъ“, обличеніемъ зла, неправды, насилія выступаетъ пьяное благородство, истинную оцѣнку которому и даетъ уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Ничтожная, задавленная жизнь не возвышается даже до протеста, предусмотрѣннаго уложеніемъ о наказаніяхъ.

Впрочемъ, говорятъ, будто въ послѣдніе годы число всякихъ уголовныхъ преступленій у насъ чрезвычайно возросло. Что-жъ изъ того? но, вѣдь, это все пьяныя преступленія, независимо отъ того, ведутъ-ли они на каторгу или въ кутузку, рѣшительно никакого идейнаго протеста собою не выражающія.

Лѣтъ тридцать тому назадъ, когда у насъ развилась чуть не эпидемія самоубійствъ, Достоевскій, оцѣнивая и выясняя явленіе, сказалъ необыкновенно жестокое слово: походить человѣкъ, походить да и застрѣлится, потому что нѣтъ средствъ, чтобы нанять любовницу. Это было страшно жестоко именно потому, что было совсѣмъ невѣрно. Но въ наше время, не боясь упрека въ жестокости, мы съ гораздо большей основательностью можемъ повторить нѣсколько измѣненный выводъ Достоевскаго: походить человѣкъ, походить и убить, потому что не на что нанять любовницу. Замѣьте: убить другого, а не себя, ибо на это современнаго человѣка никогда не хватитъ. Себя онъ охраняетъ, себя онъ возвеличитъ, заковавшись въ такую броню эгоизма, которую ни пули, никакіе упреки совѣсти не прошибутъ.

Это эгоизмъ особый, специфическій, создавшійся на почвѣ жалкой, ничтожной жизни, лишившейся всякаго духовнаго содержанія. Это—чисто животный эгоизмъ.

Какъ писатель огромнаго таланта, г. Горькій чрезвычайно ярко и широко отразилъ въ своихъ произведеніяхъ именно этотъ животный эгоизмъ современности, только, къ величайшему сожалѣнію, не какъ уродство и ужасъ, а зачастую какъ красоту, силу и прелесть жизни.

Это повело къ курьезному недоразумѣнію; разные диллетантствующіе критики или критиканствующіе диллетанты, охочіе до всяческихъ изслѣдованій, стали находить черты нищестанства какъ у г. Горькаго, такъ и въ самой современной жизни, плохо давая себѣ отчетъ въ различіи идейнаго эгоизма отъ эгоизма чисто животнаго, на исключительной почвѣ котораго и создались почти все герои г. Горькаго.

II.

Другимъ властителемъ думъ и наиболѣе яркимъ писателемъ безвременья является, разумѣется, г. Чеховъ. Оговорюсь. Въ бѣглыхъ, скользящихъ характеристикахъ я вовсе не думаю давать оцѣнку этихъ двухъ писателей: мнѣ онѣ необходимы по столько, по сколько безъ такихъ предварительныхъ набросковъ рѣшительно не возможно приступать къ текущей беллетристической литературѣ въ тѣхъ ея произведеніяхъ, которыя только и могутъ представить какой-нибудь интересъ.

Дѣло въ томъ, что современная беллетристика довольно рѣзко дѣлится на двѣ части: въ одной изъ нихъ продолжаютъ свою творческую дѣятельность уже „маститые“ и пока только „наши извѣстные“ писатели; другую наполняютъ вчера созданныя знаменитости или просто дебютанты. Мнѣ кажется, что наибольшій интересъ — въ послѣднихъ: отъ нихъ ожидаешь свѣжести, непосредственности, искренности, а, быть можетъ, встрѣтится и яркая оригинальность.

„Маститые“ продолжаютъ жевать, правда, очень почтенную, но — увы! — лишившуюся необходимыхъ живительныхъ и созидательныхъ соковъ, жвачку шестидесятихъ годовъ. „Наши извѣстные писатели“ не перестаютъ, несомнѣнно,

очень искусно и талантливо, вертѣтъ шарманку, заведенную еще въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, и на тѣ-же самые мотивы, доминируетъ надъ которыми, все-таки, всегда одинъ: рознь отцовъ и дѣтей.

Все это, повторяю, весьма почтенно, но непроходимо скучно, да и не нужно, какъ совершенно оторвавшееся и отставшее отъ жизни. Жизнь, однако, мститъ за себя и устраиваетъ триумфы даже тѣмъ, кто воспроизводитъ ее, только какъ она есть, лишь освѣтивъ ее бенгальскими огнями, и остается совершенно равнодушной къ почтеннымъ гробокопателямъ, которые заднимъ числомъ пытаются раз-обратиться въ ней.

Г. Чеховъ—большой талантъ на малыя дѣла. Едва-ли въ русской литературѣ найдется превосходный миниатюристъ, ему равный. Въ этихъ миниатюрахъ сила г. Чехова, смыслъ и значеніе не только его самого, но и отражаемой имъ жизни. Очень жаль, что выпускаемое теперь при „Нивѣ“ собраніе сочиненій г. Чехова издается не только безъ всякой системы, но даже безо всякой редакціи. Въ нихъ, въ этихъ сочиненіяхъ, нѣтъ г. Чехова, какъ пѣвца, отражателя и порою, дѣйствительно, художественнаго выразителя современности. Нѣтъ потому, что здѣсь рядомъ съ прекрасною вещью помѣщено совсѣмъ ненужное ничтожество, сочинявшееся еще не Чеховымъ, а Чехонте. Это очень жаль, конечно, тѣмъ болѣе, что „приложенія Нивы“ имѣютъ самое широкое распространеніе среди читающей средней публики и чеховскіе перлы для нея могутъ потонуть въ пучинѣ его-же мало-значащаго хлама, къ которому, по моему искреннему мнѣнію, принадлежатъ вся литературная дѣятельность Чехонте и кое-что изъ начальнаго періода творчества г. Чехова. Все это къ слову, разумѣется.

У г. Чехова нѣтъ никакого протеста; жизнь давитъ и, въ большинствѣ, раздавливаетъ героевъ г. Чехова. Вѣчные сѣрые будни, мелочность, ничтожество, задвленность жизни у него всегда ведутъ къ смерти, чаще духовной, чѣмъ физической, но это еще ужаснѣе. Едва-ли не единственный разъ г. Чеховъ намѣревался создать человѣка протеста, но у него ничего не вышло, т. е. вышло одно изъ самыхъ неудачныхъ произведеній („Записки неизвѣстнаго человѣка“) и онъ уже не прерываетъ безконечной пѣсни нытья. Это

великолѣпно отражаетъ современную жизнь, но — увѣ! — не только не освѣщаетъ ея, а, наоборотъ, дѣлаетъ сумерки, окутавшіе ее, еще непрогляднѣе.

III.

У всякаго большого таланта непременно являются подражатели, именно подражатели, а не ученики, если онъ не создаетъ школы, т. е. если онъ не открываетъ источника новыхъ пріемовъ, формъ или сущности *художественнаго* творчества. И это во всѣхъ областяхъ литературы и искусства. Вспоминаю, какую массу подражательницъ вызвала въ періодъ наибольшаго расцвѣта и блеска своего таланта г-жа Савина. Но такъ какъ таланту подражать нельзя, а г-жа Савина никакой художественной школы не создала, ибо о какомъ-же искусствѣ безъ кавычекъ можно было говорить, если главнымъ орудіемъ ея являлся репертуаръ такого „художника“, какъ г. Крыловъ,—то подражали, разумѣется, внѣшности, — внѣшнимъ пріемамъ, индивидуальнымъ особенностямъ артистки и пр.; и одно время, довольно продолжительное, всѣ провинціальныя *ingénues* иначе не разговаривали на сценѣ, какъ въ носъ, т. е. заимствовали отъ г-жи Савиной то, что легко было заимствовать, но что какъ разъ является ея недостаткомъ.

Аналогичное наблюденіе можно сдѣлать относительно гг. Горькаго и Чехова въ смыслѣ ихъ вліянія на современную литературу—молодую литературу, это—главное; старики, повторяю, идутъ своимъ путемъ. Никто, конечно, не станетъ отрицать, что вліяніе это огромно, но едва-ли всѣ согласятся, что оно вмѣстѣ съ тѣмъ и страшно пагубно. Оно ломаетъ, угнетаетъ начинающія дарованія, дѣлаетъ ихъ неискренними, фальшивыми. Мнѣ только что довелось прочесть двѣ пьесы молодого драматурга: одна у него вылилась непосредственно, помимо всякихъ вліяній, и, не смотря на массу недостатковъ, нѣкоторую идейную неясность и растерянность автора, отсутствіе у него сценическаго и литературнаго мастерства и пр., — въ ней, въ этой пьесѣ, чувствовалось живое слово, живыя настроенія, т. е. чувствовался талантъ. Другая пьеса явно была сочинена „подъ Чехова“; въ ней какъ разъ,

прежде всего, слышался тотъ „носовой прононсъ“, благодаря которому всѣ провинціальныя ingénues намѣревались сдѣлаться Савиными.

У автора, въ сущности, былъ жизнерадостный сюжетъ, который, не мудрствуя лукаво, отлично можно было разработать въ веселую, бодрящую комедію; но предъ драматургомъ, въ качествѣ memento mori его непосредственному дарованію, стоялъ чеховскій „Дядя Ваня“ и онъ сейчасъ-же взялъ сѣрые тоны, сталъ ныть, при чемъ, разумѣется, выжималъ нытье изъ головы, а не бралъ его изъ сердца, потому что тамъ именно никакого нытья и не было. Получилась скучная, а, главное, совершенно бездарная пьеса, головная, неискренняя, искалѣченная, фальшивая.

И это, къ величайшему сожалѣнію, типическое явленіе современной молодой литературы, заразившейся хотя временно и излѣчимо, но очень сильно гг. Горькимъ и Чеховымъ. Почти въ каждой книжкѣ журнала вы непременно найдете произведенія молодыхъ талантовъ, написанныя либо „подъ Чехова“, либо „подъ Горькаго“. Хотите сдѣлать опытъ? Извольте. Возьмемъ любую изъ послѣднихъ книжекъ нашихъ ежемѣсячниковъ, ну, напримѣръ, ноябрьскую книгу „Міра Божьяго“. Беллетристика тутъ не богата, но удивительно типична и характерна и можетъ служить великолѣпной иллюстраціей всѣхъ высказанныхъ выше мнѣній и положеній. Особнякомъ въ данномъ случаѣ, разумѣется, стоитъ г. Потапенко, который закончилъ въ этой книжкѣ свой романъ „Мать и дочь“, написанный въ обычной для этого писателя манерѣ и въ давно выработанномъ имъ направленіи, не имѣющихъ ничего общаго съ манерой и направленіемъ г. Чехова или Горькаго.

Загѣмъ „беллетристическій отдѣлъ“ составляютъ произведенія новыхъ, а потому, очевидно, молодыхъ писателей: разсказъ г. Арцыбашева „Сумасшедшій“ и продолженіе повѣсти г. Юшкевича „Человѣкъ“. Очевидно-же, что, не смотря на молодость, оба эти беллетриста уже успѣли составить себѣ „имя“, такъ какъ въ объявленіяхъ того-же „Міра Божьяго“ на будущій годъ, въ качествѣ приманокъ, обѣщаны повѣсть г. Арцыбашева „Бунтъ“ и повѣсть-же г. Юшкевича „Рынки“.

Каюсь: гдѣ-то и, кажется, недавно я что-то читалъ, под-

писанное и той, и другой фамиліями, но что именно, рѣшительно не могу припомнить; было-ли это только подражательно или просто и непосредственно ничтожно, не знаю, но, во всякомъ случаѣ, кромѣ именъ авторовъ въ памяти ничего не осталось. Теперь, прочитавши разсказъ г. Арцыбашева, я думаю, что раньше прочитанное было только подражательнымъ и плохо, безпомощно подражательнымъ.

„Сумасшедшій“ г. Арцыбашева производитъ непріятное и печальное впечатлѣніе; прежде всего въ воображеніи воскресаетъ провинціальная ingénue, которая говоритъ въ носъ и надѣется сдѣлаться Савиной, но, въ дѣйствительности, дѣлается только скверной актрисой. У г. Арцыбашева въ его разсказѣ подражательность г. Чехову такого-же рода; она наивна даже до трогательности; это подражаніе ребенка взрослому. Г. Арцыбашевъ подражаетъ не чеховскимъ настроеніямъ, мыслямъ, а просто виѣшности, подробностямъ обстановки, положеніямъ дѣйствующихъ лицъ и мѣста и пр. Курьезнѣй всего, что за образецъ подражанія молодой авторъ выбралъ одно изъ наиболѣе извѣстныхъ и яркихъ произведеній г. Чехова — „Палата № 6“. Та-же больница, тотъ же больничный докторъ съ тою только разницей, что онъ уже въ началѣ, неизвѣстно зачѣмъ и почему, съ ума сходитъ: просто „стоялъ у окна, смотрѣлъ на поля и“ понесъ околесную; тѣ-же подробности первой встрѣчи доктора съ другимъ сумасшедшимъ: у г. Чехова послѣдній „взвизгнувъ въ такомъ изступленіи, какого никто еще не видѣлъ въ палатѣ: „Господа, поздравляю, докторъ достаиваетъ насъ своимъ визитомъ! Проклятая гадина! Убить эту гадину! Нѣтъ, мало убить! Утопить въ отхожемъ мѣстѣ“.

Арцыбашевскій сумасшедшій „сказалъ съ веселой злобой и его довольно безобразное лицо, все въ веснушкахъ, перекосилось: „какъ только я изъ больницы выйду, первымъ дѣломъ ребра переломая тѣмъ своимъ благопріятелямъ, которые меня сюда пристроили“.

Какъ видите, то-же да не то; такъ же и въ дальнѣйшемъ: разговоръ Арцыбашевского доктора съ сумасшедшимъ явно сочиненъ по образу и подобию бесѣды Андрея Ефимыча съ Иваномъ Дмитричемъ, только у г. Чехова есть яркость, сила, выразительность; у его подражателя все вяло, блѣдно, ничтожно. Вообще г. Арцыбашевъ, судя, по крайней

мѣръ, по его разсказу „Сумасшедшій“, не обладаетъ главнѣйшимъ беллетристическимъ орудіемъ: языкомъ. Беру первую попавшуюся фразу: „То нездоровье, которое онъ чувствовалъ передъ тѣмъ цѣлыхъ двѣ недѣли, еще больше напомнило ему о неизбѣжной необходимости пережить ту минуту, о которой онъ и раньше безъ замиранія сердца не могъ думать“.

То, тѣмъ, ту, которое, о которой— все это и для современнаго канцелярскаго языка не совсѣмъ хорошо, а для беллетристики, хотя-бы и современной, уже совсѣмъ плохо.

IV.

Гораздо интереснѣе въ смыслѣ характерной подражательности произведеніе г. Юшкевича. Это сочинено уже по Горькому, который властно царитъ въ каждой подробности чужой повѣсти, распоряжаясь, какъ опытный режиссеръ, гримомъ, позами, манерами дебутирующаго писателя. Конечно, талантъ свой онъ не можетъ вложить въ дебютанта, но послѣдній отлично воспринялъ всѣ вычурны, выписныя лица, слова кудрявыя своего наставника. Дѣйствіе происходитъ, разумѣется, въ трущобѣ, которую представляетъ собою огромный домъ, гдѣ „пьянствовали мужчины, женщины, дѣти, дѣвушки, и въ этомъ да въ развратѣ было единственное забвеніе отъ тяготы“. Центральныя планъ повѣсти занимаютъ портовый поденщикъ, Василій, его племянница, Аннушка, которой „было 17 лѣтъ и только то, что дѣтство дѣвушки протекло въ другомъ мѣстѣ, спасло ее отъ паденія“, и неграмотный парень Никита. По существу, вся исторія маленькая и старенькая, какъ міръ; въ трущобѣ, гдѣ всѣ только пьянствовали и развратничали, встрѣтились молодые парень и дѣвушка, вполнѣ естественно полюбили другъ друга и „сошлись“.

Исторія изъ тѣхъ, которая наиболѣе простое, ясное выраженіе нашли для себя въ извѣстномъ разсказѣ: „Ванька Таньку полюбилъ“. Но „по Горькому“ это выходитъ совершенно иначе.

Парень Никита воспылатъ жаждой образованія и условился съ поденщикомъ Василіемъ учиться у него по бук-

варю; плата за уроки назначена веселая: шкаликъ водки. Учитель сначала выпиваетъ водку, а потомъ уже обучаетъ. Это, конечно, вполне въ правахъ и условіяхъ трущобнаго просвѣщенія, но въ этомъ еще нѣтъ „эффекта“, одного изъ тѣхъ эффектовъ, которыми такъ ошеломляетъ г. Горькій, и, разумѣется, онъ тотчасъ же сочиняется. Едва Никита переступилъ порогъ Васильиной комнаты, не успѣвъ онъ еще познакомиться съ Аннушкой, какъ раздался нечеловѣческій, безумный крикъ, вскорѣ перешедшій въ бѣшенный вой затравливаемой собаки: это сосѣдка нашла самый удобный моментъ начать рожать; разумѣется, она „хромая“, разумѣется, „живетъ съ грекомъ“ (почему не съ татаринкомъ или армяниномъ, не объяснено), разумѣется, „ребенокъ идетъ плечикомъ“ и, разумѣется, она умираетъ. Въ дальнѣйшемъ эпизодъ этотъ рѣшительно никакого отношенія къ дѣйствующимъ лицамъ не имѣетъ и сочиненъ, выдуманъ исключительно ради первотерзательной обстановки, раздражительной декорации, по образу и подобию того самаго ошпариванія кипяткомъ, которое такъ художественно примѣнено въ „На днѣ“.

Но это, такъ сказать, только первый, вступительный акордъ. Дальше молодой авторъ перехитрилъ самого Горькаго и нарисовалъ такую картину выписныхъ лицъ, вычуръ и словъ кудрявыхъ, передъ которой поблѣднѣли даже горьковскіе герои, разодѣтые, по выраженію Толстого, въ романтическіе плащи и шляпы съ перьями. Но по-порядку.

Въ трущобахъ, если вѣрить г. Юшкевичу, очень уважаютъ науку и даже въ нѣкоторомъ родѣ благоговѣютъ предъ ней. Аннушка, узнавъ, что Никита явился обучаться у Василія грамотѣ, недоумѣнно—насмѣшливо восклицаетъ:

— Грамотѣ его учить, дядюшка? Да его въ баню нужно раньше свести. Такой грязный и грамотѣ учиться!

Поденщикъ Василій, выпивъ шкаликъ водки, не замедлилъ согласиться, что грамотѣ обучаться грязному человѣку не подобаешь, и выразилъ это сентенціей во вкусѣ горьковскихъ: „Къ наукѣ даже совѣстно неумытымъ прикоснуться. Опрятности наука требуетъ“. Отчего и не трезвости также?

И, дѣйствительно, стоило Никитѣ только сходить въ баню, чтобы послѣдовало одно изъ тѣхъ совершенно волшебныхъ превращеній, къ которымъ влеченье, родъ недуга, пи-

гаютъ какъ самъ г. Горькій, такъ особливо его послѣдователи и подражатели.

Поденщикъ Василій оказывается необыкновенно литературный человекъ съ тонкимъ художественнымъ вкусомъ. „Тюфякъ“ онъ находитъ превосходной книжкой, но не читалъ ея, потому что очень скучно. А вотъ надъ „Бѣдными людьми“ они вмѣстѣ съ племянницей плакали.

Удержись авторъ на такой характеристикѣ литературности Василія, это было-бы хорошо: просто, правдоподобно. Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ не только задавленныхъ, но и лишь искренно чувствующихъ читателей, при первомъ своемъ знакомствѣ съ литературой, не плакалъ надъ „Бѣдными людьми“? Но г. Юшкевичу, какъ вѣрному послѣдователю и подражателю г. Горькаго, необходимы маскарадный романтический плащъ и шляпа съ перомъ, и онъ сталъ измышлять такую уже прямо нелѣпую несуразность или несуразную нелѣпость, отъ которой г. Горькаго, конечно, всегда удерживалъ его большой талантъ. Хотя знаете что? Выдумка, фальшь, безъ всякаго чувства мѣры утрированныя, доведенныя до крайности, обыкновенно, только помогаютъ разобратся въ обманѣ, который, подъ прикрытіемъ романтическаго плаща и шляпы съ перомъ, въ нынѣшнее безмысленное время очень легко сходить за чистую художественную монету. Если г. Горькій сочинилъ проститутку, утопающую въ романтизмъ бульварныхъ романовъ и обожающую никогда не видимаго Гастона, то подражатели, разумѣется, вымыселъ его должны доводить до конца и, напримѣръ, превратить трущобныхъ обитателей въ такихъ литературныхъ героевъ, имя которыхъ до сихъ поръ умиленно произносится читающей публикой.

Въ каморкѣ поденщика устраивается литературный вечеръ. Читать выбрали одно изъ самыхъ тонкихъ, самыхъ поэтическихъ, отмѣченныхъ особой художественной прелестью произведеній Тургенева—„Вешнія воды“. Поденщикъ Василій, хотя убѣжденъ, что эту повѣсть сочинилъ Тургенѣвъ, а не Тургеневъ, тѣмъ не менѣе оказался такимъ превосходнымъ художественнымъ чтецомъ, какихъ не отыскать среди современныхъ литераторовъ и даже актеровъ. Получилась совершенно майковская картина изъ „Пульчинеллы“: тѣшобная

комната, по малу
 Въ чертогъ преобразуясь, наполнялась
 Героями, царицами, царями;
 Стихийное иль божеское вѣщо
 Блится въ нихъ величьемъ колоссальнымъ
 Надъ сумракомъ обыкновенной жизни;
 И вдругъ средѣ этихъ исполинскихъ силъ
 Послышится ей родственное что-то —
 Любви, какъ голубь, рѣющій надъ бездною...
 У ней отъ страха сердце замираетъ,
 Она глядитъ и, точно въ лихорадкѣ
 Слѣдя за нимъ чтеца уже не видитъ.

Такое-же чудо совершилось при чтеніи поденщикомъ Василюмъ „Вешнихъ водъ“ господина Тургенѣва. Чтець далъ плоть и кровь художественнымъ образамъ и „Джемма и Санинъ какъ-бы въ розовомъ сіяніи стояли въ комнатѣ и были дороги, близки“. Но высокохудожественныя щедроты чтенія этимъ не ограничились: „черные, жгучіе глаза Джеммы будто были у него въ рукахъ (т. е. въ рукахъ поденщика Василя) и онъ хвастливо выставлялъ ихъ красоту Никитѣ и Аннушкѣ, пригоршнями выбрасывалъ въ комнату, чтобы во всѣхъ углахъ свѣтилась любовь этой милой дѣвушки“. Комната, во всѣхъ углахъ наполненная джемминой любовью, конечно, произвела моментально надлежащее дѣйствіе на Аннушку и „она сама превратилась въ Джемму“. А Никита, разумѣется, въ Санина.

Дальше романъ Никиты и Аннушки пошелъ по пути, указанному „Вешними водами“, и рѣшительное свиданіе влюбленныхъ происходило въ тонѣ и стилѣ знаменитаго свиданія Джеммы и Санина, только—увы!—заклучилось оно со всѣмъ ужъ прозаическимъ, грубымъ, за то вполне отвѣчающимъ трущобнымъ правамъ, окончаніемъ.

Послушайте: вѣдь, все-же это отъ начала до конца вздоръ, вздоръ нелѣпый и вредный. Если „Сумасшедшій“ г. Арцыбашевъ—вздоръ „не только вредный, но и совершенно бесполезный“, потому что совершенно ненужный; если сентенціи г. Юшкевича о необходимости бани предъ началомъ урока—вздоръ только смѣшной и наивный, то весь этотъ эпизодъ съ „Вешними водами“—вздоръ именно вредный и нелѣпый. Онъ нелѣпъ потому, что авторъ не создаетъ ни одного живого лица, а измышляетъ только уродство: урод-

ливъ этотъ поденщикъ, выпивающій шкаликъ и закусывающій исполненной поэтической прелести и чарующей чистоты любовью Джеммы, черные, жгучіе глаза которой онъ хвастливо пригоршнями разбрасывалъ по всѣмъ угламъ комнаты (хорошенькій образъ?); уродлива эта Аннушка, „превратившаяся въ Джемму“, раньше не „павшая“ только потому, что не жила въ трущобѣ, но падающая съ первымъ же встрѣчнымъ парнемъ послѣ того, какъ онъ вымылся въ банѣ. Бѣдная, чистая, хрустальная Джемма, думала-ли она, что ее чрезъ полвѣка такъ нечистою помянутъ въ русской литературѣ и надломленную еще въ первой любовной драмѣ разобьютъ уже окончательно,—ее, Джемму, до этихъ поръ остававшуюся однимъ изъ прекраснѣйшихъ поэтическихъ образовъ въ женской художественной галлерей. Ну, Санину, обреченному воплотиться въ поденщика Никиту, тому хоть по заслугамъ и за измѣну Джеммѣ, и за утерю всякаго самолюбія въ отношеніяхъ къ Марѣ Николаевнѣ Подозовой.

А вреденъ этотъ вздоръ, какъ вредны всякая фальшь, всякая ложь, отравляющія жизнь и, тѣмъ болѣе, литературу. У г. Горькаго романтическіе плащи и шляпы съ перомъ—мелодраматичны; у его послѣдователей и подражателей они уже пошлы, а пошлость убиваетъ не только художественную, но и всякую литературу.

Н. А. Селивановъ.